Яков Минченков

Киселев Александр Александрович

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«…Со всей справедливостью надо признать, что передвижники впервые пробудили и поддерживали в обществе интерес к искусству. Дремлющие губернские города с приездом к ним выставки хоть на время отрывались от карт, сплетен, обывательской скуки и дышали свежей струей свободного искусства. Начинались разговоры и споры на темы, над которыми обыватель раньше не задумывался и о каких он не имел представления…»

- Яков Данилович Минченков
  -
  - Примечания

Яков Данилович Минченков
Киселев Александр Александрович

Передвижные выставки приносили много хлопот губернаторам и предводителям дворянства. Губернаторы по циркуляру министерства двора должны были оказывать содействие передвижникам в устройстве в городах выставок, проявлять, так сказать, просвещенное внимание к искусству, а с другой стороны, должны были и следить за тем, чтобы на выставках не появлялось чего-либо вредного по местным условиям.

Положиться в этом деле на невежественных цензоров губернаторы не могли: трудно было определить вредные вещи, да еще по «местным условиям».

Легче было, когда они получали телеграмму с точным обозначением недопустимых картин, вроде репинского портрета Льва Толстого, написанного после его отлучения от церкви. Такую телеграмму с добавлением «секретно» они показывали заведующему выставкой и успокаивались, узнав об отсутствии на выставке опасной вещи.

В большинстве случаев они попросту просили заведующего не подводить их и не ставить на выставку неподходящего.

– И у цензора детишки есть. Сохрани бог, проглядит у вас на выставке что-либо запрещенное в столице – и тем куска хлеба лишиться может, а мне тоже неприятность.

Предводителям дворянства и подавно не было радости от выставок, для которых приходилось предоставлять помещение в доме дворянских собраний. Они опасались, чтоб не поцарапали при устройстве выставок паркета или белых колонн в зале. А когда широкая публика с улицы свободно входила в привилегированное дворянское гнездо, предводители и швейцары только горестно вздыхали.

Но если они терпели, скрепя сердце, ежегодно сваливавшуюся на них из Петербурга обузу, не будучи в состоянии ей противодействовать, то население городов радостно встречало приезд выставки.

Со всей справедливостью надо признать, что передвижники впервые пробудили и поддерживали в обществе интерес к искусству. Дремлющие губернские города с приездом к ним выставки хоть на время отрывались от карт, сплетен, обывательской скуки и дышали свежей струей свободного искусства. Начинались разговоры и споры на темы, над которыми

обыватель раньше не задумывался и о каких он не имел представления.

К искусству тянулись главным образом интеллигенты, разночинцы, педагоги, учащиеся и в последнее время – организованная рабочая масса, для которой, как и для учащихся, двери выставки были широко открыты.

Терпя убытки от передвижения, без всякого расчета на сбыт картин, Товарищество все же захватывало в кольцо своих путешествий огромное расстояние, как Петербург – Ярославль – Одесса – Варшава – Ревель, и посылало свои вещи в города Сибири и за границу, до Америки включительно.

И везде картины находили трогательный отклик в человеческих сердцах.

Не забудется такой, например, случай, когда в сороковую годовщину Товарищества пришел представитель от рабочей организации и с натугой начал говорить: «Я от кожевников, как бы сказать… поблагодарить… Ну, словом, спасибо вам, художники, что пускаете к себе на выставку и выводите нас в людское положение». А потом размахнулся широко и весело хлопнул по руке тяжелой ладонью. От его рукопожатия стало и больно и как-то свежо.

Выставки, возбуждая интерес к живописи среди чуткого юношества, толкали его на путь искусства, тянули в центры художественной жизни, в художественные школы, а также вербовали в члены Товарищества лиц, уже причастных к искусству, где-либо учившихся живописи, но не решавшихся посвятить ей себя всецело.

В числе увлеченных знаменем передвижничества был и Александр Александрович Киселев. По окончании университета он поступил в Харьковский государственный банк. Еще учась в Петербурге, он занимался живописью, не придавая ей особого значения.

Когда в семидесятых годах в Харьков приехала первая передвижная выставка и Киселев увидел картины лучших русских мастеров, родные пейзажи, в нем проснулось чувство художника. Он усиленно стал заниматься живописью и послал свои вещи передвижникам в Петербург.

Там он обратил на себя внимание Товарищества, и Крамской посоветовал ему заняться исключительно живописью.

Недолго думая, Киселев бросил службу, переехал в Москву и весь отдался искусству. Сперва трудно было: средств никаких, семья, но горячая любовь к искусству поборола все препятствия. Он приобрел известность в широких кругах общества. Его свежие пейзажи, отражавшие русскую природу, нравились публике и

хорошо раскупались. Он понемногу укрепился и материально, переехал в Петербург и долго жил исключительно на заработок от искусства.

Все же и в Петербурге приходилось трудновато от недостатка в средствах, и Киселеву надо было постоянно работать на художественный рынок для сбыта своих вещей.

После реорганизации Академии художеств, когда профессорами ее стали почти исключительно передвижники, он одно время состоял в ней инспектором, а по уходе Куинджи из пейзажного класса занял его место и стал профессором.

Иногда он откровенно сознавался: «Ну какой я профессор? Это так, когда другого нет. А согласился потому, что все же я хоть вреда не сделаю никому, не навяжу никому своего, что у меня есть плохого. Так и говорю своим ученикам: вы меня слушайте, а делайте так, чтоб на меня не было похоже».

И конечно, Киселев, не имея большого мастерства, будучи скорее дилетантом в живописи, не мог создать своей школы и подготовить больших мастеров живописи. Преподавание его сводилось к доброжелательным собеседованиям с учащимися.

При мне, в 90-х годах, Киселев был уже стариком, ходил прихрамывая с палочкой. Один сапог у него был с толстой двойной подметкой. Сжимал и морщил лицо и сильно щурил один глаз.

Тон его речи был полушутливый, без едкого сарказма или горькой иронии. У него все выходило безобидно и немного поверхностно, скользяще, подчас красиво. Картина – душа художника, его портрет. По ней можно заглянуть во все изгибы его души, характера. То, что было в картинах Киселева, лежало и в основе его натуры. Ему не свойственна была большая углубленность в жизнь, как в картинах его не было глубокого проникновения в природу. Он не проявлял исчерпывающего интереса к чему-либо, мысль его точно скользила по поверхности жизни, вылавливая в ней красивое или невинно-комическое, но как человек образованный, вращавшийся в кругу людей науки и искусства, он много знал, был интересным и приятным собеседником и обладал достаточным запасом интересных воспоминании из пережитого, которые он передавал со своим легким юмором.

Все это увязывалось с его картинами, со светлыми, радостными тонами его пейзажей, немного идеализированных и подкрашенных, но в которых все же была культурная умелость и искренность чувства.

В большой академической квартире Киселева, как почти у всех передвижников-питерцев, были свои вечера, содержание

которых носило характер, присущий самому хозяину.

Вечера были занятные и оживленные. Александр Александрович принимал участие в забавах молодежи и, казалось, был самым изобретательным человеком в проведении вечеров и объединении молодежи с почтенными гостями.

Он очень любил стихи и сам сочинял их. Его стихи, главным образом басни, были гладко написаны и остроумны. Красивая легкая рифмованная шутка давалась ему свободно.

Обступает его молодежь и пристает:

– Александр Александрович! Напишите скороговорку, да подлиннее, чтоб язык можно было сломать.

Вытаскивают кресло на середину зала, усаживают в него Киселева и ждут. А он наклонит набок голову, еще больше прищурит левый глаз и – уже готово.

– Пишите! Только чтоб читать без отдыху, да побыстрей!

Александр Александрович диктует:

На мели мы лениво
Налима ловили,
А в домике цветами
Алела малина.
За малиной цвела лебеда.
Не беда,
Что в малину, меня
Не любя, вы манили,
Что про все вы забыли,
А меня в том винили —
Вот в этом беда!

Попробовали читать записанное и со смехом «ломали язык» на половине, а потом говорили:

– Да это вы, Александр Александрович, заранее приготовили, а вот мы придумаем такой стих, такие слова, что к ним не подберете рифмы.

– Ну вот увидите, ну вот увидите! – прыгала егоза-гимназистка.

– Ладно, пробуйте, – соглашался Киселев.

Молодежь убегает в другую комнату. Смех, спор! Выходят. Высокий худой юноша объявляет:

– Мы начали писать глубочайшее по идее и великолепное по форме стихотворение, но на второй строке вдохновение у нас выветрилось, а потому просим вас закончить стих.

Александр Александрович ждет. Юноша, став в театральную позу, прыскает со смеха в платок и начинает:

Покататься хотят девочки.
Вот оседланы и лошади…

и останавливается, а Киселев продолжает:

Я во двор гляжу, надев очки,
– Грязи нет, хоть без калош иди.

– Что? Поймали? – кричат кругом, и при общем смехе Александр Александрович объявляется непобедимым стихотворцем и первым поэтом Васильевского острова. Собирается подписка на сооружение ему при жизни памятника. При выборе для него места присутствующий здесь Мясоедов предлагает поставить памятник в Зоологическом саду и вносит на его построение первый камень – коробку спичек.

Киселев берет и благодарит, а Мясоедов не может утерпеть, чтоб не добавить:

– При выражении добрых к вам чувств будьте уверены в их неискренности.

К спичечным коробкам Киселев был неравнодушен. Он брал сперва пустые коробки, а потом он машинально клал в карман лежавшую перед ним коробку и уносил домой. Там он разгружал свои карманы и из собранных за зиму коробок сооружал весной с детьми в саду целые замки причудливой архитектуры. Спичечные коробки служили кирпичами при постройке.

Обращаются к Киселеву:

– Скажите, в каком виде изобразить вас на памятнике в Зоологическом саду?

Александр Александрович разводит руками:

Не знаю сам, кем лучше быть:
В саду голодным волком выть,
На страх людей там львом реветь
Иль средь дерев орлом сидеть?
Нет, лучше стану тигром-людоедом
И растерзаю Мясоеда!

А Мясоедов, заложа руки за спину, с поднятой головой уходит в столовую, бросая слова:

– Зубы обломаете!

Александр Александрович просится:

– Ну, будет! Отпустите душу на покаяние!

Молодежь начинает играть на рояле, петь, а Киселев достает

большой альбом и кладет на стол.

Лемох заглядывает в него:

– Это у тебя новости, Александр Александрович? Ты опять? Ах ты: затейник!

Товарищи переворачивают страницы альбома, и смех не умолкает. В альбоме каждая страница перерезана пополам. Открывается первый лист – видите портрет известного лица, наклеенный на страницу альбома и перерезанный пополам. Перевертываете нижнюю половину листа, и к верхней половине портрета присоединяется теперь совершенно несоответствующая нижняя часть фигуры от другого портрета. Так, например, вы видите вначале портрет во весь рост бывшего прокурора синода Победоносцева с елейным выражением лица и в благочестивой позе. Перевертываете нижнюю часть страницы, и перед вами появляется фигура Победоносцева, отплясывающая канкан в юбке балерины.

Иллюстрации подбирались остроумно и, глядя на них, нельзя было удержаться от смеха.

Киселев, изнывая под тяжестью житейских забот, вынужден был писать ходовые вещи, которые публика любила и раскупала для украшения гостиных.

Как пейзажисту, ему необходимо было писать этюды. Это вызывало расходы, и даже большие, если ехать приходилось далеко – на Кавказ или в Крым, особенно с семьей. И вот у него, как и у некоторых других художников-передвижников, явилась мысль завести свой уголок, свою дачу-мастерскую, где можно было бы дешево жить и с удобствами работать. Это предприятие казалось не таким дорогим, требовалась только единовременная затрата на постройку. Содержание же дачи должно было стоить не дороже найма чужого помещения.

– А главное, – говорил Киселев, – подумайте: вы приезжаете в свою мастерскую, – свет, удобства для работы, никто и ничто вам не мешает. Какая продуктивность в работе, какая независимость! Правда, вы становитесь улиткой, прикрываетесь своей крышей, как раковиной, от внешних поражений, поводите из-под нее усиками, озирая маленький мирок, вас окружающий. Нет широкого простора, мал вам горизонт, вы связаны местом, но зато вы не треплетесь по пустякам, не тратите энергии на житейскую дребедень и отдаетесь исключительно искусству. В настоящее время только при таких условиях можно независимо работать. Посмотрите, за границей все художники так и делают – те, конечно, кто имеет для этого возможность.

Сказано – сделано. На Кавказском побережье чуть ли не даром раздавались участки с условием, чтобы на них были

построены жилища. Киселев выбрал участок в Туапсе, на горе у скалы Кадоша. Чего лучше: перед глазами море, Кавказ, горы… Для художника – рай!

«Я видел море, очами жадными простор его измерил», – повторял» в восторге Александр Александрович.

С большими затруднениями, войдя в долги, построил он свою дачу и с увлечением стал писать кавказские горы и море.

И действительно, новые благоприятные условия дали ему возможность без особых помех отдаться искусству, а в природе был неиссякаемый материал для пейзажиста. Киселев блаженствовал, в его вещах появились впечатления от новой для него природы и даже свежесть письма. Он, что называется, встряхнулся и ожил под южным солнцем.

Но вскоре материальные затруднения возобновились.

Расстояние от Петербурга до Кавказа оставалось неизменным, а переезд в Туапсе стоил не дешево. Дача скоро приобрела привычку просить ремонта, каждая щель в ней и гвоздь на крыше вопили: подай, подай, подай. Киселев стал частенько захаживать на выставку и поглядывать, не появится ли у его картины билетик с надписью: «продано».

Жаловался: опять на даче крыша протекает, стена треснула, надо ее перекладывать. И многое другое советовало своему хозяину писать картины поскорее, и притом такие, которые бы нравились публике, которая ходит с бриллиантовыми булавками в галстуках и пачками кредиток, небрежно засунутых в карман. Александр Александрович с едва заметной горькой иронией говорил:

– Два-три месяца живу я в объятиях пламенной природы, и там я чувствую, что я «и царь и раб, и червь и бог», а в общем наслаждаюсь. А приеду в Петербург – осень, дождик, темно, и «за миг создания плачу страданьем», на мою голову так и лезут кошмары, расплата за содеянное на Кавказе и за все текущее и никогда не вытекающее здесь. Я думал, что трудновато жилось, когда дети были мал мала меньше, а оказалось, что еще труднее, когда они стали бол бола больше.

Говорю ему:

– А зачем вы треплете парадный сюртук, когда сейчас, в глухие дни, можно ходить в пиджаке? Разве потому, что вы профессор Академии?

– Нет, – отвечает Киселев, – тут дело не в церемониале, а нижняя часть моего костюма от долгой носки потерпела аварию, и длинный сюртук скрывает ее недочеты. Вот если кто купит мой «Кавказский хребет», тогда и я приобрету подходящее к пиджаку нижнее продолжение.

Опять собирались у него вечером. На этот раз не пристают к нему со стихосложением. Взята серьезная нота. Просят прочитать что-либо из больших поэтов. Как всегда, ставят парадное кресло среди зала. Александр Александрович усаживается.

– Ну, что же вам прочитать? И кто больше Пушкина? Начну с него, а что – услышите.

Все размещаются, наступает тишина. Киселев был мастер читать, а главное, у него была изумительная память на стихи, и читал он их наизусть. Знал на память целые поэмы.

Делает маленькое вступление:

– Всем настоящим, здесь присутствующим, и будущим, еще не народившимся поэтам! Пишите, что хотите, но научитесь писать так красиво и с такой легкостью, как писал достоуважаемый ваш коллега Александр Сергеевич. Без натуги и потуги. Стих катится так… да вот послушайте.

Киселев прикрывает от света рукой глаза и начинает:

Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить.

Молодежь не утерпела, вскрикивает:

– Браво! «Домик в Коломне»! Это наше!

Эта вещь читалась Киселевым несколько раз и всегда нравилась слушателям. У него не было ложного пафоса, утрировки, как у плохих чтецов, особенно актеров. Он не читал, не декламировал, а обыкновенно простым, жизненным тоном вел беседу с выведенными в поэме персонажами и распоряжался рифмами так, что вы не замечали их, как отдельных нот и фраз в музыке, но в то же время, слагаясь в гармонии, они вызывали у вас яркий художественный образ.

Незаметно он втягивал вас в свой разговор и в общую беседу, делал вас соучастником переживаний автора, его персонажей.

Легкий жанр и изящная игривая форма «Домика в Коломне» особенно отвечали характеру Киселева.

Ну, женские и мужеские слоги!
Благословясь, попробуем: слушай!
Ровняйтеся, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай!

– продолжал Киселев тоном фельдфебеля с оттенком солдатского приказа. А потом ласково, нежно убеждал девочку-резвушку:

Усядься, муза; ручки в рукава,
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!
Теперь начнем. – Жила-была…

Тут Киселев замотал головой и так искренне и заразительно засмеялся, что все, как дети, начали тоже смеяться, предвкушая дальнейшую смешную историю.

И, как детей, Александр Александрович пугает:

«Стой тут, Параша. Я схожу домой,
Мне что-то страшно»…

У некоторых даже лица вытягиваются, а потом снова все заражаются веселым, здоровым смехом до самого конца повести.

Редко приходилось видеть у Александра Александровича помраченное лицо. В минуты каких-либо неприятностей у него лицо лишь сжималось в мелкие морщинки, но скоро снова принимало прежний спокойный вид.

– Назло стихиям, всей окружающей нас тяжелой атмосфере, – говорил Киселев, – бросайте здоровый, бодрый смех и шутку. Горе легко садится на шею тем, кто низко опускает голову, а встряхнулся, засмеялся – и слетело горе. Что же касается препятствий, то нет таких, которых нельзя было бы побороть при силе воли и бодрости духа.

На одном из своих вечеров Киселев объявил:

– Сегодня у меня день эпизодов.

– Как так?

– А так, что пусть каждый потрудится и вспомнит какой-либо эпизод, происшедший с ним во время его работы, на этюдах или вообще связанный с его художественной деятельностью. Условие одно: говорить правду, не утрировать положения. Можно передавать слышанное от другого.

Послышались было протесты:

– Ну что там! Мало ли чего с кем ни было, и какой интерес в этих мелочах.

Но Киселев настаивал, и гости не художники его поддержали. Говорили, что интересно, в каких условиях приходится работать художнику, особенно в глуши, в деревне, и как к нему там относятся.

Убедили. Согласились даже Лемох и Волков. Лемох только, как всегда, твердил:

– Ты, Александр Александрович, уж известный затейник! Да-с! Но только у меня никаких эпизодов не происходило, были

незначительные случаи, и я ни от кого не потерпел неприятностей.

– Ну, так скажешь про другого, – убеждал Киселев.

А Волков сознался:

– То есть, оно, действительно… недоразумения, как бы сказать, конечно, того… были у всякого…

Сошлись на том, что так как программу вечера придумал Киселев, то пусть он первый и рассказывает.

Александр Александрович не протестует и говорит, как и за кого его приняли в глухой лесной деревне.

– Был у меня знакомый, маленький помещик в лесной местности, большой любитель живописи. Позвал к себе пожить и пописать этюды. Я воспользовался предложением и летом приехал к нему. Места были живописные: сосновые леса и лесные шишкинские дали. Так как мне ходить много было трудно, то хозяин предложил лошадь для поездок на этюды.

Поехал я с кучером, написал этюд леса с рекой. Кучер, захудалый мужичок, смотрел на этюд, вздыхал и говорил несколько раз: «Ах, боже мой, вот диковинное дело!» – «Чему, – говорю, – ты удивляешься?» – «Да как же? В такой малый ящик – смотри – и лес и речка влезли!» – и тычет в мой этюдник пальцем. Только сказал, как вдруг ему глаз запорошило. Ослеп малый, не может раскрыть глаза; слезы ручьем льются. Тогда я отвернул ему веко и вынул из глаза острую соринку. Все прошло, и стал он видеть. В это время по дорожке ползет змейка. Знаю, что не ядовитая, поймал ее, чтоб привезти домой и заспиртовать. Некуда только было ее посадить. Тогда я скинул свое пальто, завязал рукав снизу, просунул в него змейку и в другом конце рукав завязал веревочкой.

Кучер смотрел на все это с ужасом. Приехали мы домой, и вот мне передают, что на кухне кучер рассказывает такую историю:

«Привез к себе из города барин колдуна (сиречь меня), и вот колдун начал всяческие чудеса делать. В шкатулке у него разные пузырьки со снадобьями и лекарствами, на которых он ворожит и каждого может сделать слепым и зрячим. Только, говорит, посмотрел я ему в ящик, куда он и лес и воду всунул, как что-то вскочило мне в глаз, и я ослеп. Спасибо, колдун пошептал, опять оно из глазу выскочило, и стал я зрячим, как прежде. Еще колдун со змеем спознался и возит его за пазухой. А барин того колдуна потчует, чтоб он помог барыне опростаться, а то ей пришла пора рожать, а она никак не сможет».

Действительно, помещик ожидал, как говорят, прибавления семейства, и надо же было так случиться, что после этого

рассказа кучера барыня родила.

И вот не стало мне покоя. Зовут на кухню. Собрались там чуть не все бабы с деревни, большинство с подарками. Одна полотенце расшитое принесла, другая петуха, третья лукошко с яйцами и кувшин молока.

Спрашиваю: в чем дело, что им нужно?

Баба, что с молоком, просила: «Смилуйся, отец, помоги: коровка у меня другая, что буланая, третий год яловой ходит, благослови ее на разрешение, как барыню!»

Стал я отказываться, убеждать, доказывать – бабы только носы фартуками утирают и каждая о своем твердит.

Показывает на лукошко с яйцами: «Скажешь – мало, не постою, добавлю чего другого по твоему спожеланию, только спомоги».

Баба с петухом пристает, чтоб мужа ее от вина отвратил, а то все, что дома есть, в кабак тащит.

Была и такая просьба: чтоб бородавку на носу вытравил. «У тебя, говорит, в ящике всякие леки есть».

Дошло дело до того, что мне показаться на улице нельзя было, и на этюдах приставали. Никто не верил, что я ничем не могу им помочь.

Я решил уехать. Меня отвозил в город тот же кучер. Дорогой я стал его стыдить, что он верит во всякую чепуху и что возвел на меня разные небылицы. Кучер вздыхал, и, казалось, проникся моими речами. Но, когда на прощание я дал ему полтинник на чай, он еще глубже вздохнул и понуря голову, проговорил: «Значит, так и не умилостивили мы тебя, не захотел ты ничем нам способить».

От этих слов мне уже стало не смешно, а стыдно за себя и за всех нас. Да, действительно, многое мы от них берем, а помощи никакой оказать не можем.

Обратились к Лемоху:

– Кирилл Викентьевич! Вот вы помогали в деревне, расскажите, что выходило из вашей помощи?

Лемох испугался:

– Что вы, что вы! Какая там помощь! Пустяки-с, это каждый должен делать, а вот Константин Аполлонович Савицкий, так тот, действительно, жертвы приносил и в конце концов раз был причислен к разбойникам.

– Ну, вот вам и эпизод, хоть и не ваш, – расскажите.

Лемох с деликатнейшей улыбкой обращается ко всем:

– Вы все, конечно, знаете прекраснейшую черту Константина Аполлоновича. Хотя москвичи вообще все прекрасные люди, но Савицкий даже из них выделялся своим бескорыстием,

отзывчивостью к чужому горю. Да-с, он, изволите ли видеть, готов был снять с себя последнюю сорочку и отдать неимущему. Светлейшая личность!

Так вот-с, жил он на даче в конце лета одни с прислугой. Жена его уехала в город устраиваться с квартирой. Приходит к Савицкому неизвестный, довольно приличного вида господин. Рекомендуется. «Я, – говорит, – настройщик роялей и еще играю на дачной сцене и пишу стихи. Не угодно ли прослушать мое последнее произведение?» Не успел Константин Аполлонович согласиться, как поэт стал в позу, отставил ногу, поднял над головой руку и начал декламировать о звездах в безлунном небе и разбитом сердце. В конце перешел на другую тему: «Мне, – говорит, – надо сейчас ехать в город, поступать на сцену, но здесь прожился и нет денег на дорогу». Савицкий сейчас же: «А сколько вам надо?» – «Да с отправкой вещей нам с женой переезд обойдется рублей в семнадцать». Такие деньги нашлись у Савицкого, и он сейчас же вручил их новому знакомому.

Тот благодарит и, уходя, обещает выслать долг тотчас же по приезде в город. Прекрасно. На другой день приходит к Савицкому неизвестная дама и обращается с вопросом: «Скажите, не был ли у вас мой муж (описывает его приметы)? Он про вас и вашу доброту часто мне говорил».

Савицкий говорит, что у него действительно был, очевидно, ее муж, но что он не знает, откуда тот вывел заключение о его доброте.

Дама жеманничает и сладчайше говорит: «Ах, не скажите! Уже всем известно – вы такой добрый, такой добрый! Только не просил ли муж у вас денег?» – «Да, просил, и я дал ему на ваш переезд».

Дама всплескивает руками: «Так значит, это вы ему дали? Ах, если б вы знали, что вы наделали! Ведь муж мой алкоголик, он на ваши деньги напился и даже – мне совестно сказать – побил меня. Хотите я покажу вам синяки на теле».

Константин Аполлонович испугался, чтоб она не стала показывать ему побои, просит успокоиться.

Дама почти с плачем: «Чем же мы теперь будем расплачиваться, когда даже не сможем выехать отсюда? Ведь у нас нет ни гроша». Савицкий обдумывает положение и говорит: «Я дам вам на дорогу, но у меня едва ли найдется такая сумма, какая вам нужна». – «А сколько вы дали мужу?» – Семнадцать рублей, сколько надо на переезд». – «Вот видите, он вас и здесь обманул, нам было бы достаточно и десяти».

Савицкий порылся и набрал только восемь рублей. Два рубля пришлось занять у прислуги. Дает деньги даме. Та благодарит,

извиняется, опять благодарит со словами, что теперь вполне оправдалась слава о его доброте1 и уходит также с обещанием выслать деньги по приезде в Москву. А Савицкий даже просит ее не беспокоиться присылкой, так как она может расплатиться, когда он вернется в город.

Но этим не кончилось. Вскорости приходит снова муж дамы и чуть не со слезами бросается к Савицкому: «У вас была моя жена? И вы, конечно, дали ей денег?» – «Да, дал на дорогу». Муж в отчаянии. «На дорогу! А знаете ли вы, что ее дорога будет стоить мне жизни? Она меня бросила совсем, она выманила у меня те деньги, что вы мне дали, да еще взяла у вас и бежала от меня». – «Но вы с ней дурно обращались и пили». – «Я пил и дурно обращался? О, какая гнусная клевета! Если б вы знали, сколько я от нее натерпелся! И несмотря на все, я не могу жить без нее и должен застрелиться. Я даже написал в стихах завещание. Позвольте, я его вам прочитаю, выехать мне все равно не с чем».

Савицкий совсем растерялся, просит не читать и успокоиться, а потом спрашивает, сколько же окончательно ему надо на дорогу. Настройщик теперь уверяет, что добраться до города он смог бы и за пять рублей.

Константин Аполлонович идет к прислуге узнать, нет ли у нее таких денег, а та из соседней комнаты подслушала весь их разговор и набросилась на него: «Эх, барин! Как вам не стыдно, что вас обманывают не то сумасшедшие, не то жулики. Дайте-ка, я с ним поговорю сама».

Вышла, да так поговорила, что поэт моментально убрался, а Савицкий упрекал прислугу в крайней неделикатности и потом долго мучился над вопросом, кто же собственно у него был – артист или жулик. Если артист, то он не мог быть жуликом, а если жулик, то зачем ему писать стихи и декламировать?

Так вот-с, видите, как все вышло, но и этим не исчерпана была доброта Савицкого. Он написал жене, чтобы она выслала ему денег на переезд с дачи, и получил пятьдесят рублей. И только уложил вещи, как новый эпизод.

Приходит крестьянин. «Барин, выручай, – говорит, – из беды. Собирал я всю зиму масло, вот целый бочоночек. Дачник один велел сюда привезти, покупал все целиком. Теперь я привез, а он уехал, и другие все дачники разъехались, один ты сидишь, некому сбыть, а нужда крайняя, дешево отдам – за сорок рублей».

Подумал Савицкий: надо выручить человека, и дело не убыточное, в городе знакомые за эту цену разберут да еще благодарить будут. Купил масло, а жене написал, чтоб еще денег прислала.

Та, наконец, сама приезжает узнать, в чем здесь дело, почему

муж не может выбраться с дачи. Савицкий показывает бочонок и объясняет, что поступил выгодно даже: будут они масло дешево иметь и других наделять. Вскрыл, чтоб похвастаться, дно бочонка, а прислуга на этот раз не утерпела и ткнула в масло ножом. Чует, что-то под ножом крепкое, глядь – а в бочонке двойное дно. Масла только на вершок сверху, а дальше вся бочка набита разным сором. Ну, конечно, конфуз был для добрейшего Константина Аполлоновича. Возможно, впрочем, что и мужичок как-нибудь ошибся.

Тут Лемоху не дали договорить, поднялся шум.

– И вы, – говорят, недалеко от Савицкого ушли, и вам можно было бы по ошибке вместо масла дрова продать. Уж лучше расскажите, как Константин Аполлонович в разбойники попал.

– Вот это действительно, – говорит Лемох, – удивляться можно как такую личность можно было принять за убийцу. Позвольте-с, опять повторяю, вы, конечно, знаете великодушие и бесконечную доброту Савицкого? А между тем такое подозрение! Так вот-с, он имел мастерскую в городе. В ней развешано было разное старинное оружие и костюмы для натурщиков. Стояли даже сапоги и лапти.

Понадобился для картины Савицкому крестьянин. Пошел он на рынок и нашел там подходящую натуру – бедного мужичка, пришедшего искать в городе черной работы. Договорился с ним о цене и ведет в свою мастерскую.

Вот тут и разыгрался эпизод. Крестьянин как увидел оружие и массу разного платья – бросился в ноги Савицкому и взмолился: «Отец родной, не губи, у меня восьмеро детей в деревне осталось!»

Можете себе представить? Он вообразил, что здесь живут разбойники, приводят сюда людей, грабят и убивают их, чтоб воспользоваться одежей. Нет, как вам покажется наш дорогой товарищ в роли грабителя и убийцы?

Очередь была за Шильдером.

– Если в городе, говорит он, – нас мало понимают, то в глухих местах, в деревнях, на нас смотрят, как на непутевых людей, занимающихся баловством, ненужным делом, или наделяют нас несоответствующими способностями – темной силой. У нас с Волковым была почти такая же история, что и с Александром Александровичем. Мы попали к одному помещику в деревню, где среди русского населения было немного татар. И нам давалась лошадь и беговые дрожки – ездить на этюды. Один раз сидим мы, зарисовываем в альбомы пейзаж. Впереди Волков в тюбетейке, которою его наделил помещик; фигура занятная – вроде Черномора. Он часто поднимал и опускал голову, длинная

борода его при этом болталась.

Внизу по оврагу проходило три крестьянина. «Что это за люди и что они делают?» – спрашивает один. Другой отвечает: «Разве не видишь, это татары своему богу, Махамету, молятся». – «А и то правда», – подтвердил третий. С тем они и ушли.

Тут, откуда ни возьмись, туча, поднялся ураган, да такой, что пораскрывал хаты и сараи, поломал и разбросал крылья ветряных мельниц, некоторые из них даже опрокинул. Снесло и железную крышу с сельской школы. Мы едва добрались до деревни. К вечеру все утихло. Только видим – приходит к нам во двор толпа крестьян и староста с бляхой. Вызывают помещика. «В чем дело?» – спрашивает тот. Толпа жмется в нерешительности, а потом выходит один и заявляет: «Уж тут как будет угодно вашей милости, а дело такое: что буря нам беды наделала, хаты пораскрыла – пускай за нами останется, а что казенную крышу со школы снесло – заплатите. Сами татар позвали, и пускай бы они на свою голову у Махамета ветру молили, а мы тут ни при чем. Через них все вышло, своими глазами видели, как они старались». Еле выпроводили толпу со двора. Волков боялся даже, чтоб нас не побили.

– А что ж, – добавил Волков, – то есть могли за милую душу! Только как вам сказать: поскольку мы тут вместе были, то, значит, эпизод и мой, а рассказывать, благодарю покорно, мне теперь нечего.

Так и отвертелся.

Дальше начал говорить скульптор Леонид Владимирович Позен.

– Представьте себе украинский хутор летом в полдень. Жара, пыль, во всех хатах закрыты окна, на улице ни души. Я пристроился под плетнем в тени, чтоб написать этюд этого сонного царства. Захотелось попробовать себя в живописи. Из-под ворот высунулась морда собачонки, понюхала, лениво протявкала и скрылась во дворе. Из-за плетня показывается заспанная физиономия хозяина-хохла с всклокоченной шевелюрой. Смотрит и спрашивает: «А що це вы робите?» – «Да вот, – говорю, – пишу». – «Эге, воно так! Знаемо мы цих писцев: днем пишуть, а ночью ни одной курицы недосчитаешься. Геть видциля, поки за дубиною не сходыв!» Вот вам и веселый эпизод! А из благоразумия пришлось мне все же уйти от этого покровителя искусств.

Не мог отделаться от рассказа и Николай Никанорович Дубовской. Он только предупредил:

– Прошу художников не обижаться за выслушанный мною однажды эпитет, который может быть приложим ко всем,

пишущим этюды.

Я сидел у реки в кустах и писал отражающиеся в воде деревья. Мимо по дороге шли два, по-видимому, мещанина. Посмотрели на меня и заспорили о том, кто я. Один говорит: «Должно быть, это рыбак сидит». Другой: «Кабы рыбак, так у него были бы удочки». – «Ну, так охотник». – «И не охотник, потому без ружья». Догоняет их третий прохожий и сразу решает спорный вопрос. «Оставьте, – говорит, – его; это не охотник и не рыбак, а просто дурак, из-за угла мешком прибитый. Он третий уже день сюда приходит. Сидит и молча смотрит в воду».

– Ну и эпизод! То есть благодарю покорно, – недовольным тоном проговорил Волков, а Мясоедов добавил:

– Начали вы маленькими делами заниматься, пустяки вспоминаете.

Киселев ему ответил со смешком:

– Маленькими? Это верно, мы люди не большие, ну вы вот и полюбите нас маленькими, а большенькими нас всякий полюбит.

О себе, о своих работах Александр Александрович говорил очень мало, а когда и говорил, то в шутливом тоне. В его шутках, незлобных выпадах как бы слышалось: «Не будем говорить серьезно о моем искусстве, оно для вас не так дорого. Будем шутить, каламбурить, а любовно беседовать со своими работами я буду один в своей мастерской».

И в большинстве его вещей чувствовалось искреннее чувство, любование природой. В нем теплился огонек, который мерцал ему на всем длинном жизненном пути и из жизни спокойной и, может быть, прибыльной уводил на путь сомнений, разочарований, житейских невзгод в туманные и заманчивые дали искусства.

Он привел его, наконец, к профессорскому месту, усаживаясь на которое Александр Александрович шутил:

– Куда ни шло: побуду и я профессором, себе на пользу, но чтоб и другим не во вред.

Он уверял, что в творчестве все держится на любви к искусству, и это чувство, самое ценное, должно отражаться во всей работе вашей. А чуть остыли вы к искусству, – повеет холодом от произведений ваших, искусство от вас отвернется.

– И будьте уверены, – говорил Киселев, – искусство вам не изменит и за ваше чувство отблагодарит. Все, что вы искренне и любовно сделаете, никогда не пропадет и будет иметь цену и значение.

Ставил себя примером:

– Кто я был? Полировщик банковских табуреток и духом раб,

ничтожный червь мира сего, но стоило мне полюбить искусство, и оно снизошло ко мне, малому, и повело меня до самых царственных брегов Невы. Вкушая горечь мира, я в то же время переживал такие сладкие мгновенья, о которых до того и мечтать не смел! И вот – как только смогу купить себе к пиджаку брюки – запишу в свой дневник: «Какие счастливые мы люди – художники!»

После Брюллова счетоводные книги Товарищества перешли к Киселеву, и он так же аккуратно вел их, просиживая за ними вечера. Так же, как Лемох и Брюллов, склонившись над книгами за своим письменным столом, пересчитывал он статьи текущих расходов по выставке, авансы, личные счета членов Товарищества, капитал пособий для нуждающихся. Всю эту работу он нес по-товарищески, совершенно безвозмездно.

В Москве открывалась очередная выставка, на которой в последний раз участвовал Киселев. Несмотря на свои лета (ему было уже за семьдесят), он оставался прежним, жизнерадостным: острил, отвечал стихами какого-либо поэта или бросал свои рифмы.

Афанасьев прислал на выставку иллюстрации на стихи А. Толстого «У приказных ворот собирался народ…» и требовал, чтобы в каталоге был напечатан весь текст. Обращаюсь к Киселеву:

– Александр Александрович! Что делать? Стихотворение займет много места в каталоге и нарушит его общий вид.

Киселев берет письмо Афанасьева, читает и хитро улыбается:

– Вишь, чего захотел! Так… так… «У приказных ворот». Хорошо, поместим…

А потом, дочитав до конца, берет перо и пишет ответ:

«Дорогой Алексей Федорович! Стихотворение печатаем до строки:

«Ведь плыли ж поперек утки…»
А чтоб весь монолог
Помещать в каталог
– Дудки!»

Сердечно распростившись с москвичами, бросив им несколько каламбуров, вернулся Киселев в Петербург. Там он раскрыл за своим письменным столом счетоводные книги, как будто глубоко задумался над цифрами, выражающими жизнь Товарищества, питавшими горсточку людей, отдавших свою жизнь любимому искусству, а потом склонился над статьей текущих расходов и предоставил учет их вести уже другим

товарищам.

Передвижники собрались, подумали и передали кассу Николаю Никаноровичу Дубовскому.

Примечания

Киселев Александр Александрович (1838–1911) – живописец-пейзажист. После кадетского корпуса и филологического факультета Петербургского университета учился в Академии художеств. Мечтал о литературной деятельности (его стихотворения печатались в журналах). Сочувствуя «бунту четырнадцати», в 1865 г. покинул Академию и вошел в организованную художниками В. А. Бобровым, Н. А. Кошелевым, П. А. Крестоносцевым и В. М. Максимовым «художественную коммуну». Вскоре порывает с живописью, уезжает в Харьков, где работает в Земельном банке. Приезд передвижной выставки в Харьков решил его дальнейшую судьбу. Он вновь обращается к искусству. С 1875 г. до самой смерти экспонирует свои произведения на передвижных выставках, деятельно участвует в жизни Товарищества, членом которого стал в 1876 г. В 1890 г. получил звание академика, с 1895 по 1897 г. – инспектор Высшего художественного училища при Академии художеств, где с 1897 г. руководил пейзажной мастерской (среди его многочисленных учеников – художники А. Ф. Гауш, К. И. Горбатов, С. Ф. Колесников и др.). Выступал также как художественный критик, стоявший на позициях демократического реалистического направления в искусстве; заведовал художественным отделом журнала «Артист», где его перу принадлежит ряд статей по искусству.

Речь идет о *портрете Л. Н. Толстого* работы И. Е. Репина, экспонированном на 29-й передвижной выставке (1901). В настоящее время – в Государственном Русском музее.

По окончании университета он поступил в Харьковский государственный банк… – здесь у Минченкова неточность. Киселев не окончил Петербургский университет, а был с группой товарищей исключен из него при закрытии университета в 1861 г. После этого учился в Академии художеств.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – статс-секретарь, член Государственного совета, обер-прокурор Синода, был одним из главных вдохновителей реакционной политики царизма при Александре III и Николае II.

Афанасьев Алексей Федорович (1850–1930) – иллюстратор и карикатурист, автор рисунков к «Коньку-Горбунку» П. П. Ершова,

к сказкам А. С. Пушкина, стихотворениям А. К. Толстого и др. Создал также ряд жанровых картин. В 1889–1918 гг. экспонировал свои произведения на передвижных выставках. После К. А. Савицкого был ряд лет директором Пензенского художественного училища.